

Николай Лесков

Полунощники



Николай Семёнович Лесков
Полунощники

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175400

Содержание

I	4
II	15
III	22
IV	35
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Николай Лесков

Полунощники

Пейзаж и жанр

*Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня.*

Пушкин

I

...Я был грустно настроен и очень скучал. Уехать из города на лето было еще рано, и мне посоветовали сделать непродолжительную прогулку с целью увидеть новые, непримелькавшиеся лица. Я сдался на убеждения моих друзей и поехал. Я не знал никаких порядков города, куда держал путь, ни нравов людей, с которыми мне там придется встретиться, но фортуна начала благоприятствовать мне с первого шага. На первых же порах во время путешествия я нашел услужливых и опытных людей, которые делали это путешествие уже не первый раз, и они научили меня, где надо пристать и как себя пристойнее держать. Я все принял к сведению и остановился там, где останавливаются все, кого влечет сюда призыванье. Учреждение это не отель и не гостиница, а оно

совершенно частный дом, приспособленный сообразно вкусу и надобностям здешних посетителей, и называется он – «Ажидация».

Мне досталась маленькая комната. Выбирать помещений здесь не принято, а равно не принято и претендовать на их относительные неудобства. Это все человек узнаёт еще во время короткого переезда. Всякий помещается здесь на том месте, какое ему отведут; а что кому надо отвести – это сразу определяет проницательное око очень бойкой женщины, которую называют «риндательша»; если же нет на месте самой «риндательши», тогда сортировкой посетителей занимается состоящая при ней подручная ключница. Обе они, по-видимому, благородного происхождения, или по крайней мере это дамы, которые достаточно видели свет и имеют о нем надлежащее понятие. Нынешний солидный возраст обеих дам, кажется, должен бы хранить их от всякого злоязычия, а здравый смысл и благочестие начертаны на их лицах, хотя, впрочем, довольно различными пошибами. Лик «риндательши» ударяет в сухой, византийский стиль, а ключница с дугообразными бровями принадлежит итальянской школе. Обе эти женщины, несомненно, умны и относятся к разряду тех, о которых сказано: «Их же не оплетеши». Друг другу они улыбались как друзья, но в глазах их, казалось, светились какие-то иные чувства, совсем не схожие с искренней дружбой. Наблюдательный человек мог подумать, что этих женщин связывает как будто какое-то взаимное опасение.

В их необыкновенном доме господствует система: как к ним «привалит» публика, или, как ее называют, – «толпушка», дамы встречают гостей и тотчас же их сортируют; знакомых лиц они прямо размещают по известным комнатам, а незнакомых подвергают предусмотрительному разбору, после чего каждый ожидатель получит в «Ажидации» такое помещение, какого он заслуживает..¹

Для этого прежде всего ожидателей сначала «собьют в угол к владычице». Здесь «в ажидации» немножко помолят-ся перед большим образом, а их в это время расценят и рас-сортируют.

Довольно большой дом в два этажа составляет одно помеще-ние – «для ожидающих». Дело, очевидно, ведется очень просто, но основательно: в особе ключницы сосредоточена большая экономическая сила и исполнительная полицейская власть.

Сила нравственная и политическая находится в руках са-мой «риндательши». Остальной домашний штат «Ажидации» состоит из услуживающих лиц женского пола, которые находятся почти в постоянных побегушках. Кроме того, есть «куфарка». Весь этот подбор принадлежит к служебным ти-пам самого низшего сорта. Впрочем, у «куфарки» есть дра-повая тальма, в которой она, должно быть, служила еще «ге-

¹ Слово «Ажидация» здесь употребляется в двух смыслах: а) как название учреждения, где «ожидают», и б) как самое действие ожидания. В одном случае оно пишется с прописной буквы, а в другом – со строчной (*прим. Лескова*).

нералу», – теперь она ее соблюдает больше для важности и показывается в ней публичке, или «толпучке».

Мужчин усматривается двое: один стоит при дверях в нижнем этаже, а другой сидит у окна в конце коридора, за шкафиком.

Первый производит впечатление придурковатого про-стачка; второй – бойкий жох из отставных военных.

Размещение в «Ажидации» отлично приноровлено к ожи-дательской цели. В обоих этажах вдоль всего здания идет по-средине коридор, а по сторонам – стойлицы.

Это «номера для ожидаателей». Здесь не называют: «при-езжающие» или «прибывающие», а «*ожидающие*». Это со-лиднее и соответственнее.

Коридоры наверху и внизу просторны и светлы. В конце каждого из них по окну. Коридор нижнего этажа содержится в посредственной чистоте. Особенной чистоты нет, – ее здесь и не убережешь, потому что сюда входят прямо с надворья и тут же раздеваются и обтирают обувь. Тут же и печурка, где ставят самовары, и ход в кухню, откуда пахнет грибным и рыбным. На одной из стен большой образ владычицы и ря-дом поменьше образ, перед ним лампада, аналой и на полу вытертый коврик, а напротив деревянная скамья со спинкой, из так называемых твердых диванов.

В разных местах фотографические и печатные портреты; одного и того же духовного лица.

С прихода все ожидатели идут к владычице и молятся, или, как говорят, «припадают». Затем всех разводят в их номера.

Знакомые имеют номера излюбленные, которые как бы всегда состоят за ними. Из них некоторые даже и не «припадают» в коридоре, а, поздоровавшись с хозяйками, прямо проходят в «свои номера». Им только говорят:

– Пожалуйста.

Других, «которые первенькие, но почище», водворяют по усмотрению в свободных номерах первого и второго этажа.

Это – аристократия необыкновенного дома.

Они получают распределение скоро. Им нет нужды ждать, пока разместят всех остальных. Прочих ключница берет и ведет в общую.

У одного из окон нижнего коридора, за маленьким желтым шкафиком, помещается отставной военный с очень серьезным выражением. Возле него на табуретике сидит ребенок, мальчик лет девяти, имеющий в чертах большое сходство с военным. Перед мальчиком куча вскрытых конвертов, с которых он смачивает слюнями марки и переклеивает их в тетрадь. Делает он это скоро и ловко и с замечательной, недетской, серьезностью, которую, по-видимому, очень заинтересована стоящая возле него кухарка в драповой тальме. Она долго на него смотрит, и, наконец, вздыхает и говорит:

– Прелесть как ловко, – лапочки будто у мышоночка – так

и виляют!

Отец этого прилежного отрока, очевидно, имеет здесь довольно серьезное значение и сидит прочно на дебелим стуле, под которым постлан мягкий коврик. Военный просматривает какие-то записки и что-то выкладывает на маленьких счетах, но это его не вполне поглощает: он все видит и слышит; мимо него никто не пройдет, чтобы он не увидел и не повел на него глазом и усами.

Шкафик у него покрыт черною, запачканною клеенкою, на которой стоит чернильница с гусиным пером и лежат нарезанные листки бумаги.

В середине в шкафе есть чистые поминальные книжки, лампадное масло, восковые свечи и ладан, а также какие-то брошюрки и фотографические портреты меньшего и большего размера.

Воин этот – человек солидного века и несомненно очень твердого характера.

Прислуга дала ему прозвание «балык».

Номера нижнего этажа «Ажидации» все немножечко с грязной и с кисловатым запахом, который как будто привезен сюда из разных мест крепко запеченным в пирогах с горохом. Все «комнатки», кроме двух, имеют по одному окну с худенькими занавесками, расщипанными дырками посередине на тех местах, где их удобно можно сколоть булавами. Меблировка скудная, но, однако, в каждом стойлице

есть кровать, вешалка для платья, столик и стулья. В двух больших комнатах, имеющих по два окна, стоит по скверному клеенчатому дивану. Одна из этих комнат называется «общей», потому что в ней пристают такие из ожидателей, которые не желают или не могут брать для себя отдельного номера. Во всех комнатах есть образа и портретики; в общей комнате образ значительно большего размера, чем в отдельных номерах, и перед ним теплится «неугасимая». Другая неугасимая горит перед владычицей в коридоре.

Перед образами в номерах тоже есть лампы, которые, впрочем, зажигаются при входе сюда ожидателей, и притом, без сомнения, на их счет, так как здесь же есть кружка «на масло». Лампады возжигает воин, имеющий свой торговый пост у шкафчика.

Некоторые из ожидателей не довольствуются огнем лампы и еще прилепливают перед номерными образами восковые свечи. Это им дозволяется и даже поощряется, но не иначе, как тогда, когда сами ожидатели находятся в комнате и не спят. При выходе же из комнаты или при отходе ко сну они обязаны гасить свечи, но лампы у них могут гореть всю ночь.

Бывают случаи, что некоторые, помолившись и легши в постель, оставляют прилепленные свечи «догорать», но «риндательша» или ее помощница непременно это замечают и сейчас же постучат рукой в двери, и попросят погасить.

Наблюдают они за этим тщательно, и укрыться от них ни-

кому невозможно.

В верхнем этаже «Ажидации» все чище и лучше. Коридор так же широк, как и внизу, но несравненно светлее. Он имеет приятный и даже веселый вид и служит местом бесед и прогулок. В окнах, которыми заканчивается коридор по одну и по другую сторону, стоят купеческие цветы: герань, бальзамины, волкамерия, красный лопушок и мольное дерево, доказывающее здесь свое бессилие против огромного изобилия моли. На одном окне цветы стоят прямо на подоконнике, а у другого окна – на дешевой черной камышовой жардиньерке. Вверху под занавесками – клетки с птичками, из которых одна канарейка, а другая – чижик. Птички порхают, стучат о жердочки носиками и перекликаются, а чижик даже поет. Торговых приспособлений здесь никаких не видно. Напротив, тут все имеет претензию казаться чинно и благородно. На стене, приблизительно в таком же расстоянии, как и в нижнем коридоре, помещается другой владычный образ, тоже большого размера и в беленом окладе с золоченым венцом. Он в раме за стеклом с отводинами, освещен лампадою в три огня, и перед ним разостлан на полу совершенно свежий коврик с розовыми букетами и стоит аналой, а на нем крест и книга. Книга и крест завернуты в епитрахиль на зеленой подкладке.

Пол коридора крашенный и блестит. Он, очевидно, вымыт с мылом и натирается воском. Вдоль всего коридора доволь-

но широкая джутовая «дорожка» с цветной каемкою.

Вдоль стен против образа поставлено одно кресло и несколько легких венских стульев с тростниковыми плетенками. В углах плевательницы.

Комнаты верхних номеров все гораздо лучше обмоблированы, чем внизу. Здесь, кроме кроватей и стульев, есть комодики и умывальники. Некоторые комнаты переделены ситцевыми драпировками надвое: одна половина образует спальню, другая – что-то вроде гостиной. Тут на комодке туалетное зеркальце, и в углу образ, перед которым тоже можно зажигать лампаду или, по желанию, свечку.

Свечки, однако, больше зажигают «серые ожидальщики», которые, собственно, составляют «толпучку» и имеют остановку в нижних номерах, а «верхняя публика» почти всегда ограничивается одними лампадами.

Кислого запаха гороховой начинки здесь не слышно, и только внутри комодных ящиков пахнет прогорклою конторскою икрой и семгой, от которых и остались в изобилии жирные пятна.

Наверху, так же как и внизу, есть тоже общая комната, помещающаяся рядом с собственным покоем «риндательши». Эта комната имеет, впрочем, вид гостиной. Она уставлена мягкой мебелью и имеет большую образницу, в которой много образов, а перед ними опять ковер и аналой с крестом и с книгою в епитрахили. Лампада горит «общая», и огонь ее красиво дробится в широком стакане из мелко огра-

ненного алмазной гранью хрусталя. Возле образника укреплена и припечатана зеленая кружка для доброхотных вкладов.

В комнате этой ночуют только в таких случаях, если число ожидателей бывает больше, чем сколько есть номеров. Тогда здесь помещают «залишных ожидателей» одного пола или какое-нибудь целое семейство; в остальное же время комната эта считается «беседною» и открыта для всех прибывающих в дом ожидателей.

После ранней обедни здесь ежедневно служат молебен, за которым все могут молиться и подавать свои поминанья и записки. Те же, которые, кроме общего моления, желают так устроить, чтобы еще отдельно за себя помолиться в своем номере, должны заявлять о своем желании особо. Ходатайство об этом надо вести через «риндательшу». Ключница за это не берется. Непосредственные же просьбы об этом часто не доходят.

Свечи, масло и все прочее, что нужно к служению, требуется наверх снизу, и заведующий этим хозяйством воин подает все это в молчании и с торжественной серьезностью.

Главный надзор за учреждением принадлежит самой «риндательше», которая, как сказано, живет тут же, на верхнем коридоре, в маленькой комнате, рядом с «беседным» покоем, а внизу правит делом помогающая ей ключница, которая присматривает тоже за кухонной частью и за свечным

унтер-офицером.

Обязанности у обеих дам разделены. «Риндательша», как собственница учреждения, избрала себе часть более умственную: она держит кормило корабля. Ей одной известна ее касса и те средства, которые приходят в нее ей одной открытыми путями. Она дает надлежащий тон всему своему заведению и владеет возможностью доставлять особые душевные утешения тем, кто их разумно ищет при ее посредстве.

Ее часть, так сказать, генеральная, а часть ключницы, помещающейся внизу, более обозная, узко хозяйственная, полная мелочных хлопот и отчасти даже неприятностей, потому что она имеет дело с прислугой, избранною из людей самого низшего качества, и с ожидателями из того слоя общества, который называется «серостью». «Серость», выражаемая не одним званием и относительною бедностью, имеет также очень грубые навыки и не всегда отличается честностью в расчете. «Риндательша» удаляется от всяких неприятных столкновений в денежном роде и слывет «доброю», но, по словам прислуги, она «большая скрытница» и «ужасно» требует от ключницы охранения всех своих выгод и интересов. Ключница должна прибегать к разным приемам, чтобы все было заплачено.

«Сила вся в их руках», – говорит общий голос.

II

Я прибыл к ним без всякой протекции. Я мог бы получить рекомендации, но это не входило в мои скромные и бесприязательные планы. Я искал облегчения от тоски и томленья духа и явился просто в чине ожидателя. Как человек средний, я был помещен по непосредственному усмотрению дам в маленькой комнате верхнего этажа.

Не зная, как здесь лучше вести себя, я присматривался во всем к другим и старался делать то, что делают опытные люди. Только таким образом я и мог попасть в господствующий тон приютившего меня учреждения, что было необходимо. Я не хотел обнаруживать никакого диссонанса в чувствах и настроении группы необыкновенных людей, по лицам которых было видно, что все они прибыли сюда с очень большими и смелыми надеждами и хотят во что бы то ни стало получить, чту кому нужно. Я «припадал» с ними везде, где они припадали, и держался сколь можно ближе всех их обычаев, и скоро ощутил, что это невыразимо тяжело и неопишимо скучно. Притом мне казалось, что здесь все особенно друг друга остерегаются и боятся и что, я приехал, очевидно, напрасно, потому что пребывание здесь не может мне представить ничего интересного.

Я ошибался.

Вечером я погулял немножко в одиночестве по городу, и

это произвело на меня еще более удручающее впечатление: изобилие портерных и кабаков, группы солдат, испитые тени какой-то бродяжной рвани и множество снующих по тротуарам женщин известной жалкой профессии.

Я должен бы помнить, что благодать преобладает там, где преизбыточествует грех, но я это забыл и возвратился домой подавленный и с окончательно расстроенными нервами; я наскоро напился чаю в «беседной» и потом вышел постоять на крыльцо, но, кажется, потревожил кухарку в тальме. Она разговаривала с какою-то военной особою и все повторяла: «Ну так что!.. А мне хоть бы чттшеньки». Чтобы не сердить ее, я ушел в свой номер с решительным намерением уснуть как можно крепче до утра, а завтра встать пораньше и уехать восвояси утром же, ничего не дожидаясь.

Усталость и скука сильно клонили меня к изголовью довольно сносной постели, которую я, впрочем, на всякий случай посыпал порядком порошком персидской ромашки.

Намерение хорошо спать, однако, не удалось. Сначала мне все страшно казалось: нет ли в кровати клопов, с которыми я в моей кочевой жизни имел много неприятных столкновений на русских ночлегах, а потом стало лезть в голову желание определить себе: в какую это я попал компанию, что это за люди – больше дурные или больше хорошие, больше умные или больше глупые, простачки или надувалы? И никак я этого не мог разобрать и не знал, как их назвать и к какой

отнести категории. А меж тем сон развеялся, и мне вместо отдыха угрожала раздражающая тоска бессонной ночи. Но, по счастью, едва все стихло в коридорах, как по обе стороны моей комнаты пошли ночные звуки. У меня оказалось разгворчивое соседство, на которое я сначала сердился, а потом увлекся и начал слушать.

Справа пришлось у меня соседи только досадительные и даже, кажется, не совсем с чистою совестью. По говору слышно было, что тут, должно быть, помещены какой-то старичок со своею старушкою. Они всё что-то перекладывали и бурчали, причем старик употреблял букву *ш* вместо *с* и *ж* вместо *з*, а также он употреблял что-то и из «штакана» и называл это «анкор». У них, очевидно, было какое-то беспокойное домашнее обстоятельство, которое они приехали уладить и кому-то угрожать, но при этом они и сами ощущали какой-то большой страх за себя. Впрочем, больше беспокоилась одна старуха, которая была, очевидно, довольно трусливого десятка, а старик был отважен.

– Ничего, мама, – говорит он старушке, – ничего, «не робей, воробей». Это штарая наша кавкажская поговорка. Ты увидишь, что он нам даст – непременно даст... плохо-плохо, что четвертную даст. Меньше ехать не штоило.

– Хорошо, если даст!

– Даст, нельзя, чтобы не дал, я уж шамую жадобрил, и ключницу тоже. Шама-то вше поняла, как я могу ей и вред и польжу шделать, – могу штаратьша вше ужнавать, и она

будет жа наш штаратыша.

– Очень ты ей нужен!

– Нет, мамка, нужен. Ей надо жнать, кто ш какими мышлями приежжает, а я, жнаешь... я вше што ешть в человеке – вше это могу ужнать и шкажать. Я буду чашто шуда публику шопровождать и шо вшеми ражговаривать и от каждого его прошлую жижть ужнавать, а они потом будут их этим удивлять, что вше жнают. Я им хорошо придумал. Я надобный! Ну, давай же анкор!

– А ты теперь как ей сказался?

– Как? Как мы ш тобой решили, так я и шкажался: иж благородных, кавкажшкой армии, брошены – непочтительный сын – шкажок начиталша... Ну, давай анкор!

– Что он богу не молится, ты это сказал?

– Да, шкажал: шкажал, что и богу не молитша и что шлужить не жажотел, а шапоги шьет... и у жидов швечки пошле шабаша убирает. Я вше шкажал, и дай мне жа это шомужки и анкор!

А старушка отвечала:

– Семужки на, а анкор не надо.

– Отчего же не надо? Я именно хочу анкор.

– Так, нельзя анкор.

– Что жа так! что жа нельжа!.. Налей, налей мне, мама, стаканчик! Я умно, хорошо вждумал, – мы теперь уштроимша.

Она налила, а он выпил и крякнул.

– Тише! – остерегла его старушка.

– Чего ты вше так боишьша?

– Всего боюсь.

– Не бойша, вше пуштаки... ничего не бойша.

– Скандал может выйти.

– Какой шкандал? Отчего?

– Еще спрашивает: отчего? будто не знает.

– Да, не жнаю.

– Ведь мы с чужою рекомендацією приехали.

– Да, ну, так што ж такое?

– Те, соседние жильцы, ее теперь небось ведь хватились – своей рекомендации-то.

– Может быть, и хватилишь...

– Ну, они сюда и придерут.

– Ан не придерут.

– Почему?

– Дай анкор, тогда шкажу – почему. – Пьяница!

– Шовшем нет, а я умный человек. Дай анкор.

– Отчего же жильцы не могут приехать?

– Налей анкор, так шкажу.

Она налила, а он выпил и сказал, что подал вчера «подозрение» на каких-то своих соседних жильцов, у которых эти-ми супругами, надо думать, была похищена какая-то блистательная рекомендация.

Старушка промолчала: очевидно, средство это показалось ей годным и находчивым.

Через минуту она спросила его: советовался ли он с кем-то насчет какого-то придуманного сновидения и что ему ска-зали?

Старичок отвечал, что советовался, и тотчас же понизил голос и добавил:

– Она меня отлично научила, как про шон говорить.

– А как?

– Шмотреть на него, как он шлушает, и ешли он возмет шебе руку в бок, то тогда шейчаш перештатъ и больше не шкаживать. Ешли вжал руки в бок по-офицершки – жначит шердитша. А что ж ты мне анкор? Ведь я беж того не ушну.

Я закрыл голову подушкой и пролежал так минут двадцать. Стало душно. Я опять раскрыл голову и прислушался. Разговор не то продолжается, не то кончен, и старички даже, кажется, спят. Так и есть: слышны два сонные дыхания: одно как будто задорится вырабатывать «анкор», а другое пускает в ответ тоненькое «плипли».

– Encore!²

– Пли-пли...

Травят кого-то или даже, может быть, казнят – расстрели-вают, что ли, кого-то во сне.

Будь наше место свято!

Я тихо встал с постели и поскорее завесил своим пледом дверь, из-за которой до слуха моего доползала эта затея.

Жадный тарантул и его ехидна, обнявшиися на супруже-

² Еще! (франц.)

ском ложе, для меня исчезли.

III

Зато, чуть стихла эта сцена справа, совсем другая начала обнаруживаться за стеною слева.

Говорили две дамы; одна, младшая, называла старшую: Марья Мартыновна; а другая, старшая, звала эту: Аичка. (По купечеству в Москве «Аичка» делают в ласкательной форме из имени *Раиса*). Они говорили тихо и так мирно и обстоятельно, что я сразу мог понять даже, как они теперь размещены в своей комнате и как друг к другу относятся.

Старшая, то есть Марья Мартыновна, вкрадчивым, медовым голосом говорила младшей, Аичке:

– Вот мой ангел, я и рада, что вы у меня улеглись на покой в постельку. Эта комнатка своей чистотой здесь из всех выдающаяся, и постелька мякенькая. И вы понежьтесь, моя милочка. Вы должны хорошенько отдохнуть, иначе вам немислимо. Вставать вам ни за чем не нужно. Я ваши глазурные очи при лампадочке прекрасно вижу, и чтт только вы подумаете – я сейчас замечу и все вам подам на постельку.

– Нет, я сама встану и лампад закрою, – отвечала Аичка молодым голосом с московской оттяжкой.

– Ан вот же и не встанете, – вот я лампад уж книжкой и загородила.

– Да уж вы известная – пожилая, да скорая.

– Да, я и не могу иначе: у меня ведь игла ходит в теле.

– Какая игла в теле?

– Самая тонкая, одиннадцатый номер.

– Зачем же она вам в тело попала?

– По моей скорости: шила и в ладонь ее воткнула – она и ушла в тело. Лекаря ловили, да не поймали. Сказали: «Сама выйдет», а она уж тридцать лет во мне по всем местам ходит, а вон не выходит... Вот теперь вашим глазурным очам не больно, и я покойна и буду здесь же у ваших ножек сидеть и потихоньку вас гладить, а сама буду что-нибудь вам рассказывать.

– Нет, не надо меня гладить, я это не люблю! Садитесь в кресло и из кресла мне что-нибудь рассказывайте, – отвечала Аичка.

– А я непременно здесь хочу! Это мое самое любимое – услужить милой даме, в чем приятно, и у ее ножек посидеть и помечтать с ней о каких-нибудь разностях! Вспоминается, как еще, бывало, сами мы молоденькими девушками, до невестинья, всё так-то по ночам друг с другом шу-шу про все свои тайности по секрету шушукались, и так, бывало, расшались, что и заснем вместе, обнявшись.

– А по-моему, женщине с женщиной обнявшись ласкаться никакой и особенной радости нет, даже и мечтать не о чем.

– Ласки, мой ангел, сами и мечты привлекают, и которые дружные, те для того, уединясь, и мечтают. Разумеется, не со всякой такая дружба возможна, но если у которой есть настоящий друг, выдающийся, то «сколько счастья, сколько

муки»!.. Это испытать и не позабыть!

– Ничего не понимаю.

– Удивляюсь! Но я понимаю: у меня в девушках был такой заковычный друг, Шура. Ах, какая была прелесть приятенькая, и зато уж мы любили друг друга! Мамаша, бывало, сердится и говорит: «Не расточайте вы, дурочки, попусту свои невинные нежности – мужьям ласки оставьте». А мы и замуж не хотели, да и что еще ждет замужем-то! Я только и свету видела, что до замужества, а уж как двум Пентефриям в жертву досталась, так и не обрадовалась.

– Как же вы это двум достались? Это интересно.

– Одного закопала, а за другого вышла.

– Ах... так!.. Вы за одного после другого вышли!

– Да, а то как же?

– Вы сказали, что «двум досталась».

– А уж ты подумала, что я вместе была за двумя разом!

Марья Мартыновна рассмеялась дробным горошком и весело проговорила:

– Ах ты, шалуша, шалуша! Ты думала, что у меня один муж был праздничный, а другой для будни?

– Да ведь это ж тоже бывает.

– Бывает, мой друг, бывает. В нынешнем свете чего не бывает, но со мной не было.

– Иные ведь обманывают: женатый, да скроет про первую жену, и еще раз женится. Ему за это достанется, а второй женщине ничего.

– Да, если она ответит от себя, что не знала, то тогда ей особенно выдающегося наказания нет, но только все-таки в суде ее защитники-то процыганят, и прокурор о постыдных вещах расспрашивать будет.

– А какая беда, что спрашивают? через это женщина-то, когда о себе расскажет, так после еще всем интереснее делается; да и с тем же, с кем разведут, после опять жить можно.

– Да, но только уж придется жить все равно как невенчан-ные.

– Извините-с, настоящий развод пред престолом нынче не делают, в церкви венцов не снимают, а только и всего, что в суде прочитают.

– А все уж по отдельному виду надо прописываться.

– Это не важность!

– Да; по полицейским правилам это все равно, но прислуга меньше уважает.

– Платите больше, и отлично уважать будет.

– Всё – как при законе – так жить нельзя.

– А при капитале как хочешь жить можно, так это еще и лучше.

– Разумеется, при твоём капитале, как выдающемся, и ты молодая вдова, в двадцать четыре года, так тебе все пути не заказаны, делай что хочешь. И я тебе совет дам: не губи время и делай.

– Советуете?

– От всей моей души советую. Век молодой надо чем по-

мянуть: тоже ведь за стариком-то ты пять лет промучилась – это не шутка.

– Не вспоминайте мне про него!

– Прости, милуша, прости! Я не знала, что ты про покойников вспоминать боишься.

– Я его не боюсь, а... мне противно вспомнить, как он храпел ночью.

– Да, уж, мужчина, который если храпит, – это немысленная гадость.

– Я, бывало, целые ночи не сплю, заверну голову одеялом и сию в постели, да и плачу. А теперь если приснится, как он храпел, сразу весь сон и пропадет.

– Да, кто храпит, им и не стоит жениться, тем больше что это при твоей молодости и при капитале, да еще и при выдающейся красоте...

– Ну, вы мне про мою красоту много не льстите, – я ведь сама себя в зеркало видывала... Разумеется, я так себе – не урод, но аляповата.

– А чем же вы нехороши?

– Не о том, что нехороша, а я не люблю, если ко мне с лестью подъезжают. Это ведь не ко мне, а всё к капиталу.

– Ну, мой друг, я ведь у вас сколько живу, а вы мне про свой капитал до сих пор никогда ничего не объясняли.

– И не обязана. Я и никому никогда о капитале ничего не скажу. Капитал – дело скрытное.

– Я и знать не стараюсь. Я взялась быть при вас компани-

онкою и по хозяйству – в том и состою, и что вы хотите, я то и делаю: в сад – так провожаю в сад, в театр – так в театр, а сюда захотели ехать – я и здесь пригодна, потому что я и здешние порядки знаю; а о чем ваше сердечное прошение и желание совершения завтрашней успешной молитвы – этого я не знаю.

– И тоже и это вы никогда не узнаете. О чем я хочу молить – это мое одно дело.

– Да я и не любопытствую.

– Конечно! И если не будете любопытничать, то вам же спокойней у меня жить будет. А вы мои мечты оставьте – лучше что-нибудь про себя мне рассказывайте.

– Что же, мой ангел?

– Что-нибудь «выдающееся».

– Ишь, шалуша, как мое слово охватила!

– Да, я люблю, как вы рассказываете.

– Нравится?

– Не то что нравится, а как-то... так, бывало, у нас в доме одна монахиня про Гришку Отрепьева рассказывала... сейчас смешно и сейчас жалостно.

– Да, я говорю грамматически. Это многие находили. Николай Иванович Степенев, деверь вдовы, который всеми их делами управляет, когда, бывало, болен после гуляньев, всегда, бывало, просит меня, чтобы с ним быть и разговаривать.

– А у него не было ли чего другого на уме-то?

– Ничего, мой друг, кроме того, что шутит над собою и

надо мною: «Я, говорит, муж выпевающий, а ты – жена-перекосица, – играй мне на чей-нибудь счет увертюру».

– Ишь, как рассказывает!

– Хорошо?

– Да что вам допрашиваться, говорите грамматически о своей жизни – вот и все.

– А у меня в жизни, мой друг, кроме горя, ничего и нет выдающегося.

– Ну вот и расскажите всю эту увертюру: какого вы роду и племени и чтт вы занапрасно терпели. Я люблю слушать, как занапрасно страдают.

– А я все так страдала. Я ведь, не забудь, откупной породы и Бернадакина крестница, потому что папаша у него в откупах служил. Большое жалованье он получал, но говорил, что страсть как много за то на себя греха принял. Впоследствии стал Страшного суда бояться, и все пил, и умер, ничего нам не оставил. А у Бернадакина повсеместно много было крестников, и не всем даже давалось на воспитание, а только чьи выдающиеся родительские заслуги. Меня определили учиться, но у меня объявилась престранная способность: ко всем решительно понятиям развитие очень большое, а к наукам совсем никакой памяти не было. Ко всему память и соображение хорошие, а к ученью нет – долбицу умножения сколько ни долбила, а как, бывало, зададут задачу на четыре правила сложения – плюсовать, или минусовать, или в уме составить, например, пять из семи – сколько в отставке? – то я

и никаких пустяков не могу отвечать. Тоже и по словесности – выговор у меня для всего был очень хороший, окатистый, но постоянно отчего-то особливые слова делались, и как на публичном экзамене архирей задал мне вопрос: кто написал Апокалипс Иоанна Богослова – я и не знала.

– Еще бы! – протянула Аичка. – Да на что это и нужно.

– Решительно ни на что – только сбивают. А тут я на шестнадцатом году, милуша моя, вдруг очень выровнялась и похорошела, стала рослая, а личико милиатюрное, и маленькая родинка у подбородка. Точно я будто францужинка. И тут со мною самый подлый поступок и сделали...

– Кто же в этом виноват был?

– Всё через родных.

– Это уж как разумеется.

– А потом и пошли меня, бедную, мыкать: францужинку, да скорей меня с рук спихивать, кому попало, за русских. Сейчас же вскоре мамаша стала просить о помощи и торопиться, чтобы скорее пять тысяч мне в приданое назначили. Сейчас и жениха какого-то нашли мне – этакого хвата, в три обхвата, и живот этакий имел, – ах, какой выдающийся! Представь себе, так весь огурцом «а-ля-пузй».

– Черт знает что такое! – сказала в возбуждении Аичка.

– Да, мой друг, уж лучше бы и не вспоминать его, – отвечала Марья Мартыновна и продолжала: – а я-то тогда еще всего боялась; но меня ведь и не спрашивали. Он как приехал, так тотчас с мамашей поладил и три тысячи приданого

до венца сорвал. Что же, – ведь не родительские, а конторские – Бернадакины. Две тысячи маменька еще себе отшибла: «Мы, говорит, тебя воспитывали и кормили. Надо теперь и о младшей сестре подумать». Я ничего и не спорила, своей пользы не понимала. С женихом обо всем маменька рассуждала и с тем уговаривалась, чтобы он уважал мою сердечную невинность и никогда никакого попрека мне от него не было, а между тем, как ему две тысячи не додали, то он после только и знал, что стал попрекать, и ужасно все мотивировал и посылал, чтобы я ходила просить, и дома со мной ни за что не хотел сидеть. Даже часто ни обедать, ни ночевать не приходил, и моя эта французская милятиурность, и стройность, и родинка ничего его не только не утешали, а даже он стал меня терпеть не мочь, и именно за то, чем могла я понравиться, делал мне самые обидные колкости.

«Что мне, – говорит, – с тобой за удовольствие? в кости, что ли, я буду играть? Я обожаю в даме полноту в обхождении».

– Значит, вы его в воображение не умели привести, – встала Аичка.

– И нельзя.

– Это пустяки!

– Нет, нельзя!

– Отчего же?

– Хладнокровие такое имел, как настоящий змей, и это, его-то испугавшись, я и иглу в себя впустила. Он на меня

топнул, а я иглу-то вместо подушки в себя воткнула. А потом, когда я больная была, и если, бывало, почувствую, где игла колет, и прошу, чтобы скорее доктора пригласить, чтобы из меня иглу вон вытащить, потому что я ее чувствую, так он и тут преспокойно отвечает:

«Для чего такая нетерпеливость! подожди, может быть игла из тебя теперь и сама где-нибудь скоро выскочит».

Аичка рассмеялась и спросила:

– И что же, наконец, вышло?

– Наконец то вышло, что у меня игла нигде не вышла, а зато он сам у своей полной дамы закутился, и попал ему такой номер, что он помер, а я тогда ему назло взяла да сейчас и вышла за подлекаря.

– Этот лучше был?

– Еще хуже.

– Неужели опять в три обхвата?

– Нет!.. Чего там! Этот, напротив, весь был с петуший гребешок, но зато самый выдающийся язвитель. А маменька пристала: «Иди да иди». «Ты, говорит, на французинку подобна, и он к этой породе близок». А его всей близости только и было, что его фамилия была Померанцев, а лекаря его называли «Флердоранж». А его просто лучше бы звать Антихрист. Мне даже пророчество было за него не идти.

– Ах, это люблю – пророчества! Что же было?

– Я только из ворот к венцу с ним стала выезжать, и на передней лавочке в карете завитый отрок с образом сидел, –

видно, что свадьба, – а какой-то прохожий в воротах заглянул и говорит: «Вот кого-то везут наказывать».

– Вот удивительно! Ну и как же он вас наказывал?

– Всего, мой друг, натерпелась. Прежде всего он был большой хитрец и притворялся, будто ему нравится моя милитарность, а мои деньги ему не нужны. И пришел свататься в распареде, как самый светский питомец: на руке перстень с бриллиантом, и комплимент такой отпустил, что как он человек со вкусом, то в женщине обожает гибкую худобу и легкость, а потом оказалось, что он это врал, а кольцо было докторово, и я ему совсем и не нравилась. Я говорю: «В таком случае зачем же вы ввали и притворялись влюбленным?» А он без всякого стыда отвечает: «Золото красиво – с ним нам милой быть не диво», и объяснилось, что он сам обиделся в том, что ожидал получить за мною большой капитал, а как не нашел этого, то тоже желает моею худобою пренебрегать, – и действительно, так начал жить, что как будто он мне и не муж.

– А за это вы могли на него его начальству жаловаться.

– Я и жаловалась. Главный доктор его призвал и при мне же ему стал говорить: «Флердоранж! что же это?» А он начал в свое оправдание объяснять: «Помилуйте, ваше превосходительство, – это немисливо: в ней игла ходит», и опять и этот тоже пошел мотивировать. Главный доктор даже удивился: велел мужу выйти, а мне говорит: «Что же вы после этого хотите, чтобы я какое распоряжение сделал? Я не мо-

гу. Если вы с иглою, то я только и могу вам посоветовать: молитесь, чтобы из вас скорее игла вышла».

– Ишь, какая вы, Мартыновна, на мужское расположение к себе несчастная!

– Да, Аичка, да! За что молоденькую ласкали, за эту милятиурность и легкость, за то самое потом от мужей ничего я не видала, кроме холодности и оскорбления. Особенно этот подлекарь, – он даже не хотел меня иначе называть, как «индюшка горбатая», и всякую ложь на меня сочинял. «Я, говорит, по анатомии могу доказать, что у тебя желудок и потом спина, и больше ничего нет». Но господь же бог истинно милосерднейший, – он меня скоро от обоих от них освобождал: стал и этот Флердоранж тоже пить и пропадать и один раз допился до того, что поехал дачу нанимать и в саду повесился, а я ни с чем осталась и в люди жить пошла.

– В людях жить трудно.

– Ничего, у меня характер хороший: меня все любят.

– Ну, это вы только хвалитесь.

– Нет! правда.

– А ведь вот вы долго у Степеневых жили, а они вас за что-то выгнали.

– Извините, Аичка, меня никто и ниоткуда не выгонял.

– Ну, отпустили. Ведь это только так, для вежливости говорится, а все равно – выгон.

– И не отпускали, а я сама ушла.

– Через что же вы ушли? Ведь их дом хороший, как вы

говорите – «выдающийся».

– Дом был самый очень выдающийся, да через одну причину начал портиться, и к тому же вот с этим местом вышло замешательство.

– С которым местом?

– Вот, где мы с вами теперь находимся в нашей сегодняшней «ажидации».

– Ну, так вот вы про это-то теперь и рассказывайте. Да только отсыдьте вы от меня, пожалуйста, подальше на кресло, а то и я боюсь, что в вас иголка.

– Вот какая ты мнительная! Но я, мой друг, теперь ведь уж тельца на себя собрала, и тельце у меня – попробуй-ка – крепкое, просвирковатое!

– Не буду я к вам касаться: я очень мнительная. Подайте мне тоже сюда и мою сумочку с деньгами.

– Я ее хорошенько в комод прибрала.

– Нет, дайте, – я люблю деньги под подушкой иметь... А теперь сказывайте: отчего вы ушли из степеневского дома.

IV

– Тут много сделал падеж бумаг.

– Вы разве на бирже обращались?

– Не я, а деверь у Степeneвых, у Маргариты Михайловны.

У них в семье ведь немного: всего сама она, эта Маргарита с дочерью, с Клавдинькой, да сестра ее, Афросинья Михайловна, – обе вдовы. Афросинья-то бедная, а у Маргариты муж был, Родион Иванович, отличный фабрикант, но к рабочим был строг до чрезвычайности, «Иродом» его звали – все на штрафах замаривал; а другой его брат, Николай Иванович, к народу был проще, но зато страсть какой предприятельный: постоянно он в трех волнениях, и все спешит везде постанов вопросу делать. Сначала он более всего мимоноски строил, и в это время страсть как распустился кутить с морскими голованерамн. Где он едет, там уж шум и гром на весь свет, а домой приедет – чтобы сейчас ему была такая тишина, какой невозможно. Жена у него была писаная красавица и смиренница, так он ее до того запугал, что она, бывало, если и: одна сидит да ложечкой о блюде стукнет, то сейчас сама на себя цыкнет и сама себе пальцем пригрозит и «дуру» скажет. Но он с нею все-таки ужасно обращался и в греб ее сбил, а как овдовел, так и жениться в другой раз не захотел: сына Петю в немецкий пансион отдал, а сам стал жить с француженками и все мимоноски туда сплавил. Думали: кончен наш Ни-

колай Иванович «выпевающий», но он опять выплыл: пристал к каким-то в компанию делать постанов вопроса, и завели они подземельный банк, и опять стал таскать при себе денег видимо и невидимо и пошел большие количества тратить на польскую даму, Крутильду Сильверстовну. Ее имя было Клотильда, но мы Крутильдой ее называли, потому что она все, бывало, не прямо, а крутит, пока какое-то особенное ударение ко всем его чувствам сделает, и тогда стоит ей, бывало, что-нибудь захотеть и только на ключ в спальне запереться, а его к себе не пустить, так он тогда на что хочешь делается согласен, лишь бы вслед за нею достигнуть.

– Вот это так и следует! – заметила Аичка.

– Да, да; это правда. Он для нее и по-французски стал учиться, а когда сын свое ученье кончил, он его из дома прогнал. Придрался к тому, что Петя познакомился с Крутильдиной племянницей, и отправил его с морскими голованерами навкруг света плыть, а Крутильда свою племянницу тоже прогнала, а та была молоденькая и милиатюрная, а оказалась в тягости, и бог один знает, какие бы ее ожидали последствия. А сам уж не знал, чем тогда своей Крутильде заслужить: ходил постоянно завит, обрит и причесан, раздушен и одет а-ля-морда и все учился по-французски. Стоит, бывало, перед зеркалом и по ляжкам хлопает и поет: «Пожолия, пополия». А тут вдруг кто-то в ихних бумагах в подземельном банке портеж и сделал. Страшная кучма народу толпучкой бросилась, чтобы у них свои деньги вынимать, и он до того

не в себе домой приехал, что кричит:

«Запри скорей ножницы и принеси мне калитку!»

И еще сердится, что этих его слов не понимают! Мы думали, что он с ума сошел, а это он испугался падежа бумаг и привез к нам какие-то пупоны стричь, да так всё и потерял и за эту стрижку под суд попался, но на счастье свое несчастным банкротом сделан. Ну, тут Крутильда его, разумеется, было бросила, а сестра, Маргарита Михайловна, взяла его к себе в службу и все дела ему поручила. Он же год и два простоял хорошо, а потом опять где-то с голованерами встретился и как раз напосудился и так застотертил, что никак его нельзя было успокоить. Маленький удерж недели на две делает, а потом опять ударит и возвращается домой с страшными фантазиями – называет одну сестру Бланжей, а другую Мимишкой... не понимает, где себя воображает. А станешь просить его, чтобы он вел себя степеннее, он сейчас: «Что такое? Как ты смеешь? Давно ли ты на домашнего адвоката курс кончила? А я на этих увертюрах с детства воспитан!» И всегда в это время у него со мной ссора, а потом после ужасно поладит и шутит: «Мармартын, мой Мармартын, получай с меня алтын», и опять до новой ссоры.

– А вы зачем встревали?

– Для золовок – золовки просили.

– Мало ли что! Разве можно мужчине препятствовать!

– Ах, мой друг, да как же ему не препятствовать, когда он в этих своих трех волнениях неведомо чего хочет, и ему

вдруг вздумается куда-то ехать, и он сам не знает, куда ехать!

– Знает небось.

– Нет, не знает. «Мне, говорит, три волнения надоели, и я хочу от них к самому черту в ад уехать». Золовки пугаются и просят меня: «Разговори его!» Я и говорю: «Туда дороги никто не знает, сиди дома». – «Нет, говорит, Мармартын, нет; нужно только на антихристова извозчика попасть, у которого шестьсот шестьдесят шестой номер, – тот знает дорогу к черту».

И пристанет вдруг ко мне: «Уйдем, Переносица, со мною потихонечку, из дома и найдем шестьсот шестьдесят шестой номер и поедem к дьяволу! Что нам еще здесь с людьми оставаться! Поверь, все люди подлецы! Надоели они!» И так уприсит, что даже со слезами, и жаль его станет.

– И неужели вы с ним ездили? – спросила Аичка.

– Да что, мой друг, делать. По просьбе золовок случилось, – отвечала Марья Мартыновна. – Как своя в доме у них привыкла, и когда, бывало, сестры просят: «видишь, какой случай выдающийся, прокатись с ним за город, досмотри его», – я и ездила и все его глупые шутки и надсмешки терпела. Но только в последний раз, когда окончательный скандал вышел, он меня взял насильно.

– Как же он мог вас насильно взять?

– Я в лавке себе сапоги покупала и очень занялась, а приказчик обмануть хочет и шабаршит: «Помилуйте... первый сорт... фасон бамби, а товар до того... даже Миллера». А он

входит – и вдруг ему увертюра московского воспоминания в лоб вступила.

«Я, – говорит, – мать Переносица, ехал и тебя увидал и очень нужное дело вспомнил: отбери мне сейчас шесть пар самых дорогих сапожков бамби и поедем их одной даме мерить». Я говорю: «Ну вас к богу!» – а он говорит: «Я иначе на тебя сейчас подозрение заявлю».

– Ишь какой, однако, прилипчивый!

– Ах, ужасный! совершенно вот как пиявок или банная листва – так и не отстанет. И чего ты хочешь: как его образумить? Во-первых, кутила, а во-вторых, бабеляр, и еще какой бабеляр! Как только напосудится, так и Крутильду забыл, и сейчас новое ударение к дамской компании, и опять непременно не какие попало дамы, а всё чтобы выдающиеся, например ездовщицы с аренды из цирка или другие прочие выдающиеся сужекты своего времени. А угощать благородно не умел: в каком хочешь помещении дезгардыж наделает, всего, чего попало, натребует и закричит: «Лопайте шакец-а-гу!» Многие, бывало, обидятся и ничего не хотят или еще его «свиньей» назовут, но ему все ничего, шумит:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.